

## ТРУД В ЕГО ПСИХИЧЕСКОМ И ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ЗНАЧЕНИИ

Политико-экономическое значение труда вполне уяснено наукой, и ему давно уже отведено почетное место между природой и капиталом, к этому значению труда, кидающемуся в глаза повсюду, куда только ни поглядишь, мы не можем ничего прибавить. Нам кажется только, что и в экономическом отношении труд должен быть поставлен во главе двух других содейтелей человеческого богатства—природы и капитала, а не рядом с ними. Если природа существует и производит богатства, годные для человека независимо от труда, то нельзя не видеть, что человек, открывая законы природы и овладевая ее силами, заставляет их делать нечто совершенно новое; капитал же есть не более как создание труда, не ограничивающегося удовлетворением настоящих потребностей. Но без труда природные богатства и обилие капиталов оказывают губительное влияние не только на нравственное и умственное развитие людей, но даже и на их состояние.

Природное богатство островов Индийского архипелага оставило человека нагим, диким и бессильным; драгоценности обеих Индий, несмотря на все богатство природных качеств испанца, убили могучие зародыши испанской цивилизации; голландские рыбаки, загнанные на пустынную отмель, отняли себе землю у морских волн и положили начало европейским капиталам.

В настоящее время мы видим еще более разительный пример значения труда в жизни народов. Сравните северные и южные штаты Северной Америки за сто лет тому назад и в настоящее время. Природа, капиталы, образованность населения — все было на стороне южных штатов еще незадолго до войны за независимость: один упорный, даже, можно сказать, страстный труд английских изгнанников составлял преимущество северных колоний. Привоз негров освободил жителя южных штатов и от последней необходимости *личного* труда — и какие результаты! В крошечном Род-Эйланде сумма образования вдвое более, чем во всех невольничьих штатах, взятых вместе! Само существование южного плантатора основано на нарушении коренного закона христианства, и всякий новый шаг цивилизации неудержимо приближает его к гибели. Он должен сделаться защитником торга людьми, безнравственности, дикости, невежества, бедности и одолеть в этой нечеловеческой борьбе — или приняться вновь строить свою жизнь. Какое страшное, отвратительное положение? Вот к чему довели жителей южных штатов их богатая природа, большие, не нажитые личным трудом капиталы и полуобразованность, пренебрегшая трудом!

Но ясно, что в этих примерах отсутствие личного труда действовало не тем, что уменьшало количество производимых ценностей: открой Испания рудники Калифорнии и Австралии — это только уронило бы ее еще глубже. Американские плантаторы еще богаты, и защитники невольничества еще очень сильны; но образование, нравственность, та жизненная энергия,

которая горит в грубом жилище западного фермера, покинула уже навсегда роскошные плантации южных штатов, возделываемые руками негров. Недавно еще рыцарские нравы жителей Виргинии обращали на себя внимание путешественников; теперь они исчезли и заменились замечательной грубостью; соотечественник Вашингтона вместо слова подымает палку в сенате, хватается за подкуп или нож там, где нельзя доказать своего права. К таким диким, варварским поступкам приводит южного плантатора необходимость доказать право торговать людьми.

Но еще более резкий пример того, что свободный труд нужен человеку сам по себе, для развития и поддержания в нем чувства человеческого достоинства, представляет нам римская история.

Припомните характер римского гражданина в тот период, когда он из-за сохи переходил к занятиям консула и диктатора, и сравните его с характером римского обжоры времени Домициана, когда целый мир присылал в вечный город изысканнейшие произведения самых отдаленных стран и когда всякое занятие считалось предосудительным не только для римского вельможи, но и для оборванца римской черни; когда тысячи рабов не только избавляли римлянина от необходимости что-нибудь делать, но даже что-нибудь думать; а толпы германских наемников снимали с него обязанность самому защищать свое отечество. Нечего говорить уже о нравственном достоинстве римлян в этот период: картины, набросанные Тацитом, даже теперь кажутся невероятными. Рабы, избавив римлянина от необходимости трудиться, сделали его самого таким добровольным рабом, каких ни после, ни прежде никогда не представляла история. Но этого мало: в который из этих периодов был счастливее римлянин? Тогда ли, когда он сам пахал землю, а жена его ткала ему одежду, или когда он в один обед пожирал годовые доходы азиатских царств, когда он без помощи других даже не ел, не ходил и не думал? Изумительное, непостижимое для нас равнодушие к жизни проглядывает, подобно какому-нибудь адскому страшилищу, в бесчисленных картинах самоубийства, изображаемых Тацитом. Вся жизнь Рима последних веков представляется одной мрачной оргией, в которой столько же несчастья и душевных неизлечимых страданий, сколько разврата, рабства, не нажитого личным трудом богатства и роскоши, не приносящей счастья. Почти можно выставить такую мысль: насколько Рим был богаче, настолько он был развратнее и несчастнее.

Но не показывает ли нам и современное положение западного общества, что увеличение массы богатства не ведет еще за собой увеличения массы счастья? Не видим ли мы, напротив, на каждом шагу, что влияние богатства прямо действует разрушительно не только на нравственность, но даже и на счастье общества, *если это общество своим нравственным и умственным развитием не подготовлено еще выдержать натиска приливающего богатства?*

Дурную услугу оказал бы государству тот, кто нашел бы средство отпустить ему ежегодно всю ту сумму денег, которая необходима его

гражданам для покупки за границей всего, что нужно для самой роскошной жизни.

Если бы люди открыли философский камень, то беда была бы еще невелика: золото перестало бы быть монетой. Но если бы они нашли сказочный мешок, из которого выскакивает все, чего душа пожелает, или изобрели машину, вполне заменяющую всякий труд человека, словом, разом достигли тех результатов, которых добиваются техники и политико-экономы, то само развитие человечества остановилось бы: разврат и дикость завладели бы обществом, само общество распалось бы, и не одна политическая экономия (к чему бы она служила тогда?) была бы вычеркнута из списка человеческих знаний; с уничтожением необходимости личного труда сама история должна прекратиться.

Переходя от государств к отдельным сословиям, следя за возникновением и падением их, мы видим то же самое: как только необходимость труда — будет ли то наука, торговля, государственная служба, военная или гражданская — покидает какое-нибудь сословие, так оно и начинает быстро терять силу, нравственность, а наконец, и само влияние; начинает быстро вырождаться и уступает свое место другому, в среду которого переходит вместе с трудом и энергия, и нравственность, и счастье.

Примеры частной жизни представляют нам то же самое: кто жил и наблюдал достаточно, чтобы иметь возможность припомнить несколько благосостояний; созданных и разрушенных на его памяти, тот, вероятно, не раз задумывался над одним странным, периодически повторяющимся явлением. Отец, человек, проложивший сам себе дорогу, трудится, бьется из всех сил, чтобы избавить своих детей от необходимости трудиться, и, наконец, оставляет им обеспеченное состояние. Что же приносит это состояние детям? Оно весьма часто не только бывает причиной безнравственности в детях, не только губит их умственные способности и физические силы, но даже делает их положительно несчастными, так что если сравнить счастье отца, тяжким, упорным трудом нажившего состояние, и детей, проживающих его без всякого труда, то мы увидим, что отец был несравненно счастливее детей. А между тем бедняк трудился целую жизнь, чтобы детям его не нужно было трудиться, — бился целую жизнь, чтоб разрушить их нравственность, сократить их существование и сделать для них счастье невозможным! О дельном воспитании он не заботился: к чему оно? — были бы деньги! Пусть-де воспитывается тот, у кого их нет, И не подумал он, что труд, а за ним и счастье сами сыщут бедняка; а богач должен еще уметь отыскать их.

Из всех этих примеров мы видим, что труд, исходя от человека на природу, действует обратно на человека не одним удовлетворением его потребностей и расширением их круга, но собственной своей, внутренней, ему одному присущей силой, независимо от тех материальных ценностей, которые он доставляет. *Материальные плоды трудов составляют человеческое достояние; но только внутренняя, духовная, животворная сила*

*труда служит источником человеческого достоинства, а вместе с тем и нравственности и счастья.* Это животворное влияние имеет тол о личный труд на того, кто трудится. Материальные плоды трудов можно отнять, наследовать, купить, но внутренней, духовной, животворящей силы труда нельзя ни отнять, ни наследовать, ни, купить за всё золото Калифорнии: она остается у того, кто трудится. Недостаток-то этой незримой ценности, производимой трудом, а не недостаток бархата, шелка, хлеба, машин, вина погубил Рим, Испанию, губит южные штаты, вырождает сословия, уничтожает роды и лишает нравственности и счастья многие тысячи людей.

Такое значение труда коренится в его психической основе, но, прежде чем выразить психологический закон труда, мы должны еще сказать, что разумеем под словом *труд*, потому что значение этого слова извратилось услужливыми толкованиями света, облекающего этим серьезным, честным и почетным именем иногда вовсе не светлые, не серьезные, не честные и не почетные действия.

*Труд, как мы его понимаем, есть такая свободная и согласная с христианской нравственностью деятельность человека, на которую он решается по безусловной необходимости ее для достижения той или другой истинно человеческой цели в жизни.*

«Всякое определение опасно» — говорили римляне, и мы не признаем нашего неуклюжего определения неуязвимым, но нам хотелось отличить в нем разумный труд взрослого человека, с одной стороны, от работы животных и работы негров из-под палки, а с другой, от забав малых и взрослых детей. Машина и животное работают, работает и негр, боящийся только плети надсмотрщика и не ожидающий для себя никакой пользы из своей работы: несвободный труд не только не возвышает нравственно человека, но низводит его на степень животного. Труд только и может быть свободным, если человек сам принимается за него, по сознанию его необходимости; **труд же вынужденный, на пользу другом, разрушает человеческую личность того, кто трудится**, или, вернее сказать, работает. Не трудится и капиталист, придумывающий только, как бы прожить доход с своего капитала. Купец, надувающий покупателя, чиновник, набивающий карман чужими деньгами, шулер, в поте лица подделывающий карты, — плутуют. Богач, сбивающийся с ног, чтобы задать бал на удивление, переест своего приятеля, стащить соблазняющую его бирюльку, — играет, но не трудится, и его деятельность, как бы она тяжела для него ни была, нельзя назвать трудом, точно так жё, как игру детей в куклы, в бирюльки, в солдатики. Скряга, работающий из всех сил, чтобы набить свой сундук блестящими кружочками—безумствует, но также не трудится. Есть и такие господа, которые, не имея уже решительно никакого дела в жизни, придумывают себе занятие ради душевного и телесного моциона: точат, играют в бильярд или просто бегают по улицам, чтобы доконать пышный завтрак и возратить аппетит к обеду, но такой труд имеет то же значение, какое имело рвотное за столом римского обжоры: возбуждая обманчивую охоту к новым наслаждениям, оно помогает расстраивать душевный и

телесный организм человека. Труд - не игра и не забава; он всегда серьезен и тяжел; только, полное сознание необходимости достичь той или другой цели в жизни может заставить человека взять на себя ту тяжесть, которая составляет необходимую принадлежность всякого истинного труда.

Труд истинный и непременно свободный, потому что другого нет и быть не может, имеет такое значение для жизни человека, что без него она теряет всю свою цену и все свое достоинство. Он составляет необходимое условие не только для развития человека, но даже и для поддержки в нем той степени достоинства, которой он уже достиг. *Без личного труда человек не может идти вперед, не может оставаться на оном месте, но должен назад.* Тело, сердце и ум человека требуют труда, и это требование так настоятельно, что если, почему бы то ни было, у человека не окажется своего личного труда в жизни, тогда он теряет настоящую дорогу и перед ним открываются две другие, обе одинаково губительные: дорога неутолимого недовольства жизнью, мрачной апатии и бездонной скуки, или дорога добровольного, незаметного самоуничтожения, по которой человек спускается до детских прихотей или скотских наслаждений. На той и на другой дороге смерть овладевает человеком заживо потому, что труд - личный, свободный труд - и есть жизнь.

«В поте лица твоего снеси хлеб твой» — сказал господь человеку, оставляя его за вратами рая и открывая перед ним широкую землю; труд сделался довершительным законом человеческой природы, телесной и духовной, и человеческой жизни на земле, отдельной и в обществе, необходимым условием его телесного, нравственного и умственного совершенствования, его человеческого достоинства, его свободы и, наконец, его наслаждений и его счастья.

Что физический труд необходим для развития и поддержания в теле человека физических сил, здоровья и физических способностей, этого доказывать нет надобности. Но необходимость умственного труда для развития сил и здорового, нормального состояния человеческого тела не всеми сознается ясно. Многие, напротив, думают, что умственный труд вредно действует на организм, что совершенно несправедливо. Конечно, чрезмерный умственный труд вреден, но и чрезмерный физический труд также разрушительно действует на организм. Однако же можно доказать множеством примеров, что бездействие душевных способностей и при физическом труде оказывает вредное влияние на тело человека. Это неоднократно было замечено на тех фабриках, на которых работники являются дополнениями машины, так что занятие их не требует почти никакого усилия мысли. Да это и не может быть иначе, потому что телесный организм человека приспособлен не только для телесной, но и для духовной жизни. Всякий же умственный труд, наоборот, приводя в действие нервную систему, действует благотворно на обращение крови и на пищеварение. Люди, привыкшие к трудовой кабинетной жизни, Чувствуют возбуждение аппетита скорее после умеренного умственного труда, чем после прогулки. Конечно, умственный труд не может развить мускулов, но деятельность и

особенная живость нервной системы заменяют этот недостаток, И если умственная деятельность не избавляет совершенно от необходимости движения, то значительно уменьшает эту необходимость. Человек без умственных занятий гораздо сильнее чувствует вред сидячей жизни. Это в особенности заметно на тех ремесленниках, ремесла которых, не требуя значительных физических усилий, требуют сидячей жизни и весьма мало умственной деятельности. Смотря на бледные, восковые лица портных, невольно желаешь всеобщего введения швейной машины.

Сильное развитие нервной системы умственным трудом дает необыкновенную живучесть телу человека. Между учеными в особенности встречается много людей, доживающих до глубокой старости, и люди, привыкшие к умственным трудам, выносит перемену климатов, дурной воздух, недостаток пищи, отсутствие движения не хуже, а часто и лучше людей, у которых сильно развиты мускулы, но слабо и вяло действуют нервы. Причины этого надобно искать в том важном значении, которое имеет нервная система в жизни остальных систем человеческого организма, и в том участии, которое принимает она во всех его отправлениях.

Конечно, всего полезнее было бы для здоровья человека, если бы физический и умственный труд соединялись в его деятельности, но полное равновесие между ними едва ли необходимо. Человеческая природа так гибка, что способна к величайшему разнообразию образа жизни. Самый сильный перевес труда умственного над физическим и наоборот скоро переходит в привычку и не вредит организму человека: только совершенные крайности в этом отношении являются губительными. Кроме того, при нынешнем состоянии общества трудно представить себе такой образ жизни, в котором бы труд физический и умственный уравнивались: один из них будет только отдыхом.

Но если для тела необходим личный труд, то для души он еще необходимее.

Кто не испытал живительного, освежающего влияния труда на чувства? Кто не испытал, как после тяжелого труда, долго поглощавшего все силы человека, и небо кажется светлее, и солнце ярче, и люди добрее? Как ночные призраки от свежего утреннего луча, бегут от светлого и спокойного лица труда тоска, скука, капризы, прихоти, все эти бичи людей праздных и романтических героев, страдающих обыкновенно высокими страданиями людей, которым нечего делать. Читая какой-нибудь великосветский роман, где бедная героиня, эфирное и совершенно праздное существо, томится неизъяснимой тоской, нам всякий раз кажется, что та тоска исчезла бы сама собой, если бы героиня вынуждена была потрудиться. Романисты в особенности любят такие праздные существа именно потому, что здесь-то и вырастает весь тот бурьян страстей, прихотей, капризов, неизъяснимых страданий, в котором так привольно блуждать туманному воображению, не выносящему света действительности.

Но человек скоро забывает, что труду он был обязан минутами высоких наслаждений, и неохотно покидает их для нового труда. Он как

будто не знает неизменного психического закона, что наслаждения, если они не сопровождаются трудом, не только быстро теряют свою цену, но также быстро опустошают сердце человека и отнимают у него одно за другим все его лучшие достоинства. Труд неприятен нам, как узда, накинутая на наше сердце, стремящееся к вечному, невозмутимому счастью, но без этой узды сердце, предоставленное необузданности своих стремлений, сбивается с дороги и, если оно порывисто и возвышенно, быстро достигает бездонной пропасти ничем неутолимой скуки и мрачной апатии; если же оно мелко, то будет погружаться день за днем, тихо и незаметно, в тину мелких, недостойных человека хлопот и животных инстинктов.

Этот неизменный закон труда каждый легко может испытать на самом себе в той потребности менять наслаждение, которая оказывается весьма скоро после того, как труд покидает человека. Потребность этой мены доказывает уже, что человек не способен только наслаждаться. Это паллиативное средство удерживать в сердце наслаждение сама быстро теряет свою силу. Чем больше человек меняет наслаждения, тем кратковременнее каждое из них приносит ему удовольствие. Мена неудержимо делается все быстрее и быстрее и, наконец, превращается в какой-то вихрь, быстро опустошающий сердце. Если же человек по природе своей способен предаваться какому-нибудь *одному* наслаждению, то это наслаждение делает его рабом своим и мало-помалу низводит на крайнюю ступень человеческого унижения. Напрасно человек старается ввести некоторый порядок и меру в свои наслаждения; несмотря на этот порядок, они быстро теряют свою цену и настойчиво требуют перемены, или одно из них требует усиления и, не останавливаясь на одной ступени, увлекает за собой человека в бездну душевной и телесной гибели. Так, например, действует привычка к вину, опиуму, к разврату, к пустой светской жизни, к картам и проч. Человек неудержимо увлекается этим вихрем, пока он не выбросит из сердца его последней человеческой идеи, и последнего человеческого чувства.

Этот психический закон, по которому наслаждения должны уравновешиваться трудом, прилагается к наслаждениям всякого рода, как бы они возвышенны и благородны ни были. Возьмем, например, наслаждение искусством: полнота и постоянство этого благородного наслаждения покупается также трудом. Только художник, посвятивший всю жизнь свою художественному труду, может вполне, постоянно и безопасно наслаждаться произведениями художества. Но если он бросит труд, если перестанет изучать законы художественного творчества, а станет только любоваться, то наслаждение быстро начнет утрачивать для него свою силу и, наконец, совершенно исчезнет. Делаясь развлечением от скуки, наслаждение искусствами быстро перестает быть наслаждением, а скоро потом перестает быть и развлечением. Страстные собиратели картин и статуй начинают, может быть, наслаждением, но оканчивают пустейшим тщеславием, и дорогая картина, которая могла бы сделаться неисчерпаемым источником наслаждения и изучения для художника, делается часто вредной для души богача, который ее купил. Поэзия, музыка, живопись, ваяние могут быть или

отдохновением после труда, или должны находиться в живой связи с трудом человека; когда они делаются предметом праздной прихоти, тогда не только теряют *всю* свою развивающую силу, но действуют отрицательно на нравственное и умственное совершенство.

Но пойдем еще выше, до самой высокой ступени человеческих наслаждений. Удовлетворение благороднейших стремлений человеческого сердца, подвиги великодушия, патриотизма, любви к человечеству совершаются не для наслаждения и дарят человека только мгновенным счастьем, которое блеснет, как искра, и исчезнет. Если же человек захочет взять более обильную дань с своего благородного подвига, остановить эту чарующую искру, то она не только немедленно начнет тускнеть, но, потухнув, наполнит сердце его смрадом тщеславия и самым пошлым самодовольством. Если же вопреки этому человек все будет усиливаться остановить потухающее наслаждение, то выйдет еще хуже: он может остановиться на постоянном созерцании своих мнимых или даже и истинных добродетелей и сделаться самым несносным, самым бесполезным существом и безвозвратно погибнуть нравственно.

Но возьмем самое спокойное, самое продолжительное из наслаждений, наслаждение семейным счастьем, и мы также увидим, что без труда и оно невозможно.

Вот два молодых существа, которым судьба дала все, кроме необходимости трудиться и возможности сыскать труд жизни. Оба они хороши собой, богаты, молоды, добры и умны; оба страстно любят друг друга и страстно желают принадлежать друг другу. Наконец желание их исполняется. Они *плавают* в блаженстве, но долго ли продолжается это плавание? Увы, очень не долго! Скоро притупляется чувство удовлетворенной страсти, и в промежутки наслаждений незаметно начинает закрадываться скука.

Жена создана богом помощницей мужу, но в чем же она будет помогать ему, если он и сам, ничего не делает? Таким образом, главное назначение жены не может быть выполнено, а вместе с тем мало-помалу исчезает и само значение брака. Чувство любви притупляется: как ни тормозит его супруги, оно продолжает откликаться все слабее и слабее и, наконец, совсем умолкает, а сердце не перестает требовать счастья, наслаждений каждую минуту и во всю долгую жизнь человека. Тогда оба супруга начинают посматривать по сторонам, искать наслаждений вне домашней жизни, и вихрь света быстро уносит их в разные стороны. Появляются дети, но за детьми есть кому присмотреть и без матери: есть для этого бонны, гувернантки и гувернеры. А отцу что делать с детьми? Поласкать, когда придут, прогнать, когда надоедят, — вот и все. Сердце же между тем все не перестает требовать жизни и счастья, каждую минуту долгие дни, месяцы и годы! Оба супруга, не находя счастья друг в друге, ищут его по сторонам: она - на балах, в нарядах, в романах, поджигающих искание счастья, в кокетстве, в отыскании нового чувства, новой любви; он — в клубах, в пирушках, в картах, рысаках, в танцовщицах; еще один шаг, и



святость брака разрушена, тот розовый веночек, которого они так добивались, разорван, брошен, затоптан в грязь и позабыт навсегда. Такова судьба всех браков по страсти у людей, которым нечего делать. Взгляните через пять, шесть лет на таких супругов, и вы даже не подумаете, что сильное чувство любви когда-то соединяло их: ни признака какого-нибудь чувства! В простой крестьянской семье, где муж выбирал в жене только работницу, а она искала в нем кормильца и хозяина, вы найдете часто гораздо более и чувства и истинной супружеской привязанности. Они трудятся вместе: ровно, дружно, как две дышловые лошади, поднимают они тяжелую борозду их жизненного пути, и все ссоры и расчеты быстро исчезают перед ежедневно возникающею необходимостью обоюдного труда. Их соединяет труд, и он-то свято поддерживает слабую искру взаимного сочувствия и проводит ее безопасно через все ссоры и даже пороки и преступления, которые могут быть сделаны супругами друг против друга, - проводит от алтаря до гробовой доски: так полно глубокого смысла то выражение библии, где господь назначает жену помощницей мужу, так оправдывается оно ежедневно перед нашими глазами, и мы если не хотим быть слепыми, то убедимся, что без труда, дельного, серьезного труда, семейное счастье есть не что иное, как романическая химера. Читая в каком-нибудь романе, как два ничего не делающих существа сгорают взаимной страстью и как потом эта страсть увенчивается браком, так и хочется спросить, что же было после? Шутка Теккерея, в которой он дорисовывает картину Вальтер Скотта и знакомит нас с семейной жизнью Айвенго и Ровены, внушена писателю глубоким знанием сердца и острой наблюдательностью того, что на каждом шагу встречается в жизни.

Но этого мало: если муж трудится, чтобы добыть средства к жизни, а жена только пользуется плодами его трудов, не разделяя самого труда, то и тогда семейное счастье невозможно. Женщина, как кумир, вечно отдыхающая от лени на ложе из роз, самое нелепое создание развращенного воображения французских романистов. Такое понятие о женщине, весьма распространенное в модном свете, оскорбительно и для женщины и для мужчины.

Перебирая, таким образом, все приятные ощущения, которые только дано испытывать человеку на земле, мы видим много наслаждений и нигде не находим счастья, потому что именем счастья человек упорно называет идеал ничем невозмутимого и бесконечного блаженства, которое бы не унижало, но возвышало его человеческое достоинство. Такого счастья нет на земле. Наслаждения, как бы их много ни было собрано в одну жизнь, еще не счастье. Это только мишурная пыль с крыльев того неуловимого призрака, за которым упорно гонятся люди. Взамен счастья, потерянного за грех, дан человеку труд, и вне труда нет для него счастья. Труд есть единственно доступное человеку на земле и единственно достойное его счастье. Бледный, дрожащий свет кидает на нашу земную жизнь эта лампада, зажженная творцом с начала истории человечества, но потушите ее, и все оденется мраком. Наслаждения порхают вокруг нее, как золотые мотыльки, привлекаемые светом, и чем ярче горит она, тем больше их толпится, но

потушите ее, и эти золотые мотыльки превратятся в хищных птиц, которые миглом расхватают все сокровища сердца и оставят его на жертву пустоте и отчаянию.

Что же это такое? — спросит читатель. — К чему ведет эта речь? Не проповедь ли это на азбучную истину, что *праздность есть мать всех пороков*? Но разве эта азбучная истина, которую в первый раз высказал какой-нибудь греческий мудрец, глубоко вдумавшийся в жизнь человека, не превратилась для нас в пустую, непонятную фразу? Из чего же видно, что эта азбучная фраза, надоевшая нам в прописях, понята нами как глубокая и вечная, к каждому из нас приложимая истина? Не показываем ли мы во всех наших желаниях, что эта истина не проникла до нашего сердца, что мы не верим тому, что она истина?

Много ли можно встретить между нами таких людей, которые не смотрели бы на богатство как на завидную привилегию ничего не делать, а на труд как на тяжелую и даже унижительную принадлежность бедности? Кто не желает обеспечить возможность праздности для себя или по крайней мере для детей своих? Самое образование детей не ставит ли большинство ниже их независимого состояния? Мало ли таких людей, которые смотрят на образование только как на средство добывать деньги и видят ли в нем люди богатые средство отыскать труд — не забаву, не украшение, а дельный труд?

Самое воспитание, если оно желает счастья человеку, должно воспитывать его не для счастья, а готовить к труду жизни. Чем богаче человек, тем образование его должно быть выше, потому что тем труднее для него отыскать труд, который сам напрашивается к бедняку, таща за спиной счастье в нищенской котомке. Воспитание должно развить в человеке привычку и любовь к труду; оно должно дать ему возможность отыскать для себя труд в жизни. Но таково ли воспитание в настоящее время?

Много ли найдется матерей, которые бы не заботились устроить праздную жизнь для дочерей своих? Мало ли есть таких, которые готовы купить для своих любимых дочерей право праздности, продав их молодость, красоту и горячее сердце такому человеку, о котором знают, что он не может внушить никакой любви?

«Есть недуг, его же видех под — говорит Экклезиаст: — богатство хранимо от стяжателя во зло ему». Немного надобно наблюдательности, чтобы убедиться, что этот недуг существует и под солнцем XIX столетия. Против этого-то недуга как в частном воспитании, так и в воспитании целого народа должно бороться. Чем большие богатства ожидают человека, тем более он должен подготовиться нравственным и умственным развитием к тому, чтоб выдержать свое богатство.

Взгляните на крестьянина в серых лохмотьях, грязной рукой оттирающего пот с своего утомленного лица; давно уже носит он под дождем тяжелую соху и с самого раннего утра топчет своими лаптями взмокшее поле; он промок до костей, горячий пот на лице его смешивается с холодными каплями осеннего дождя, руки опадают от усталости; он черен, угрюм, лицо его изрыто морщинами, которые скорее похожи на борозды,

проводимые по полю его тяжелой сохой, чем на легкие черточки времени; весь он запачкан грязью и облит потом. Но всмотритесь в его физиономию, в его усталые, задумчивые глаза, и вы найдете в них выражение человеческого достоинства, которого напрасно стали бы искать на белом, гладком, румяном, как крымское яблоко, и, как атлас, лоснящемся лице сидельца в енотовой шубе, похаживающего около своей лавки. От нечего делать этот сочный господин заигрывает с своим, таким же разбухшим, соседом: морда толстого кота, выглядывающего в окно той же лавки, глядит разумнее! Но как ни беден крестьянин, одной сохой выбивающий себе насущный кусок хлеба, как ни тяжел труд его и как ни скудно вознаграждение, но когда после долгого рабочего дня он возвращается домой, то труд, как закатывающееся солнышко трудового дня, облекает пурпуром и золотом самые грубые предметы, встречающие его дома. Немногосложна и духовная жизнь крестьянина, но она все же есть, и в ней много истинно человеческого достоинства: он любит семью, в воскресный день радостно затепливает свечу перед образом и, встречая нищего, ломает пополам свою краюху хлеба или вытаскивает из-за голенища свой грязный кошелек, где лежат три медные копейки, добытые тяжелым трудом.

Но вам кажется, что бедняк стоит лучшей участи? Бросьте же ему горсть золота, которая бы разом избавила его от необходимости свободного труда, и полюбуйтесь превращением.

Видите ли вы этого расплывшегося негодяя? Его сальное и бессмысленное лицо, маленькие заплывшие глаза, исполненные хитрости, наглости и вместе с тем низкого раболепства перед вашей высокой особой, напоминают вам и вашего приказчика, и целовальника в красной рубахе, и знакомого вам содержателя постоянного двора, и разбухшего купца-миллионера, которого вы помните еще за прилавком питейного дома, а может быть, и кого-нибудь из ваших друзей. Это — тот же самый крестьянин: он похитрел и в то же время поглупел, сделался жаден и жесток, обирает и обкрадывает народ и от всей души презирает своего бывшего собрата. Он сильно сколачивает копейку, хотя уже много серебряных рублей лежит в его окованном сундуке, на котором он примостил себе перину и дрыхнет в ожидании кондрашки. Он весь предался тому сорочьему инстинкту, который медицина должна была бы причислить к самому неизлечимому роду сумасшествия: каждая новая копейка выщербливает у него часть души, и в сердце его въелась безвозвратно та гнусная болезнь, о которой так удачно сказал Ювенал: «*crescit amor nummi quantum ipsa pecunia crescit*». Прощай, человек! Остался толстый мешок, наполненный жиром и имеющий свойство всасывать деньги.

Кто наблюдал над жизнью простого народа, тот знает, как неизбежен такой закон превращения и как быстро зверство одолевает крестьянина, избавленного от необходимости личного физического труда и незнакомого с трудами умственной жизни. Могучая природа его тела, взлелеянная на русской печи и русском морозе, продолжает вырабатывать все новые и новые

силы, которые, за неимением расхода на труд, обращаются в жир, потопляющий и глаза его, и сердце, и мозг.

Может быть и другого рода превращение, которое, по нашему мнению, ничем не хуже первого: внезапно разбогатевший крестьянин, если его натура пошире и сердце поблагодороднее, может вовсе бросить труд и, что называется, закутить. Быстро исчезнет с него тогда человеческий облик: обрюзгая, посиневшая физиономия, губы красные, как огонь, и мутные глаза выразят в тесных формах неутолимую тоску его души.

Эти два превращения, которые в таких резких формах высказываются в простом быту, идут и выше - гораздо выше! Формы меняются, но смысл остается тот же.

Если духовные силы, вызывающие свободную деятельность человека на новый серьезный труд, духовный более прежнего, не растут вместе с материальными средствами удовлетворять своим нуждам и прихотям, то не только нравственное достоинство человека, но и счастье его понижаются по мере увеличения его богатства, будет ли он прибавлять капиталы к капиталам или растрчивать их на наслаждения, будут ли этими наслаждениями простая сивуха или шампанское, орловский рысак или балетная знаменитость. Богатство растет безвредно для человека тогда только, когда вместе с богатством растут и духовные потребности человека, когда и материальная и духовная сферы разом и дружно расширяются перед ним. Большая разница в том, понадобится ли разбогатевшему крестьянину книга, рояль, картина или тонкое сукно и тонкое вино, захочет ли он дать хорошее воспитание своим детям или заведет себе любовницу; будет ли побуждать его к новому труду желание расширить сферу своей общественной деятельности или желание затащить еще тысячу в свой сундук. Вот почему, по крайней мере, наравне с заботами политической экономии добывать бархат, тончайшие сукна и золотые кисеи должны идти заботы об умственном и нравственном развитии народа, о его христианском образовании, иначе все эти кисеи и бархаты не увеличат массы счастья, а, напротив, уменьшат его. Но для чего же вся эта промышленная сумятица, если не для счастья? Не для того же, конечно, чтобы доставить политико-эконому и статистику удовольствие считать число фабрик и тюки товаров. Роскошь, которая в последнее время так быстро начала распространяться между всеми сословиями и которой так радуются иные статистики, политико-экономы и фабриканты, так же быстро может съесть нравственность и счастье людей. Роскошь развивает фабрики, фабрики развивают роскошь; капиталист сколачивает новые капиталы; некапиталист бьется из всех сил и лезет в долги, чтобы не отстать в роскоши от капиталиста: человек вертится на своем бархатном кресле, придумывая, как бы добыть бархатные драпри; потребность больших и больших капиталов для всякого самостоятельного производства увеличивается; число самостоятельных производств уменьшается; одна громадная фабрика поглощает тысячи маленьких и превращает самостоятельных хозяев в поденщиков; один дуреет от жира, другой дичает от нищеты; одного губит

богатство, другого крайняя бедность превращает в машину; тот и другой приближаются к состоянию животному, а новые потребности, создаваемые ежеминутно промышленностью, увеличивают число недовольных жизнью. Таким путем идет экономическое развитие общества, *не опирающееся на духовном и нравственном развитии его содержания и формы.*

Так начертал господь закон свободного труда и во внешней природе, и в самом человеке, в его теле, сердце и уме. Высылая человека на труд, творец сделал труд необходимым условием физического, нравственного и умственного развития и самое счастье человека поставил в неизбежную зависимость от личного труда. Карая, господь сострадал своему созданию; посылая смерть, полагал семена новой жизни. «Трудись!» — сказал он человеку, и в этом слове выразилась вся неполнота падшей природы человека и все достоинство его земной жизни. Труд сделался отличительным признаком сына земли, знаком его падения и указанием пути к совершенствованию, признаком бессилия и залогом силы, цепью, накинутой природой на человека, и уздой в руках человека для обуздания самовластия природы, клеймом рабства и печатью свободы; жизнь и самое счастье стали трудом; но зато в труде же нашел человек и жизнь и единственно достойное его счастье.

Мы не будем указывать на все последствия, вытекающие из такого психического значения труда, — их бесконечное множество; но припомним только те из них, которые прямо относятся к делу воспитания.

Меркантильное направление нашего века, постоянно усиливающее свой натиск, проникло не только во все слои общества, во все сферы жизни, но даже в науку и в школу. Так называемые «humaniora», науки философские и исторические, заметно уступают свое место наукам промышленным; имеющим своей целью расположение материальных потребностей человека и отыскание средств к их удовлетворению. Философия, еще недавно игравшая такую важную роль в умственном образовании Европы, сошла с первого плана и уступила свое место безобразному учению материалистов, сиящихся создать систему, в которой мог бы найти успокоение человек, позабывший в промышленных хлопотах, что у него есть душа. Отказавшись от своего достоинства, наука старается подделаться под жизнь и становится рабой промышленности, которой прежде бросала только крупницы со своего пышного стола. Но если промышленность будет вести за собой науку, то по чьим же следам сама промышленность будет идти? Куда приведет она человека?

Неужели в быстром передвижении на паровозах и пароходах, в мгновенной передаче известий о погоде или о цене товаров через электрические телеграфы, в износке возможно большего количества тончайших бархатов и толстейших трико, в истреблении благовонных сигар и смердящих сыров откроет человек, наконец, назначение своей земной жизни? Конечно, нет. Окружите человека всеми этими благами, и вы увидите, что он не только не сделается лучше, но даже не будет счастливее, и

что-нибудь одно из двух или будет тяготиться самой жизнью, или быстро пойдет понижаться до степени животного. Это нравственная аксиома, из которой не вывернуться человеку. Зерно его существа, бессмертный дух его требует иной пищи и, не находя ее, или томится голодом, или покидает человека заживо. Только религия, с одной стороны, сердцем человека решающая мировые вопросы, и наука, с другой, в высшем, бескорыстном, философском своем значении, могут открыть и на земле пищу бессмертному духу человека. Вот почему всякая школа, позабывшая изречение спасителя: «Не о хлебе едином жив будеши» и приготавливающая человека только к материальной жизни, как бы утонченна эта жизнь ни была и сколько бы ни требовалось для нее познаний, не выполняет своего назначения: она не приготавливает человека к жизни, но на первых же шагах сбивает его с настоящей дороги. Всякая школа прежде всего должна показать человеку то, что в нем есть самого драгоценного, заставив его познать себя частицей бессмертного и живым органом мирового, духовного развития человечества. Без этого все фактические познания — иди он даже до глубочайших математических или микроскопических исследований — не только не принесут пользы, но положительный вред самому человеку, хотя, может быть, и сделают его полезной, а иногда и очень вредной машиной в общественном устройстве.

Другое не менее важное для педагогики последствие, вытекающее из психического значения труда, состоит в том правиле, что воспитание не только должно развить разум человека и дать ему известный объем сведений, но должно зажечь в нем жажду серьезного труда, без которой жизнь его не может быть ни достойной, ни счастливой. Потребность труда, как мы видели уже, врождена человеку, но она удивительно как способна разгораться или тухнуть, смотря по обстоятельствам, и в особенности сообразно тем влияниям, которые окружают человека в детстве и в юности.

Чтобы человек искренне полюбил серьезный труд, прежде всего должно внушить ему серьезный взгляд на жизнь. Трудно представить себе что-нибудь противнее цели истинного воспитания, как тот легкий шутовской оттенок, который придают учению и даже вообще воспитанию некоторые педагоги, желающие позолотить для детей горькую пилюлю науки. Шутовство и без того в последние годы завладело беседами почти всех слоев так называемого образованного общества; и без того серьезный разговор в гостиных и даже в домашних дружеских кружках сделался почти невозможным или, по крайней мере, чем-то странным и неприличным. Люди образованные, или имеющие претензию на образованность, стараются о самых серьезных вещах говорить шутя, и предмет разговора должен быть уже слишком ничтожен, — какой-нибудь новый фасон платья или какое-нибудь событие преферанса, чтобы о нем позволялось говорить в обществе серьезно. Не только серьезный разговор, но даже серьезный взгляд на жизнь считается неприличным, и человек, встречаясь с другим человеком, прежде всего старается надеть на себя шутовскую маску. Светские и полусветские молодые люди, еще не оставившие учебной скамейки, как будто боятся

говорить серьезно о том, чему их учат, и, подделываясь под тон людей взрослых, слегка третируют и своих наставников, и предметы своего учения, позволяя себе говорить серьезно только о папиросах или перчатках.

Мы не будем докапываться, откуда проистекает такое требование шутовства в обществе, от долговременного ли отсутствия всяких серьезных интересов в нашей общественной жизни, от влияния ли французского воспитания, вырабатывающего до сих пор корифеев нашего большого света, или даже отчасти и от всеобщего, слишком уже пересоленного юмористического направления литературы, — скажем одно, что такая всесильная мода шутовства не только не способна поддержать общественных отношений, но действует чрезвычайно опустошительно, изгоняя из общества всякое разумное содержание.

Дельное воспитание должно бороться с таким достойным сожаления направлением общества и дать молодым людям положительно серьезный взгляд на жизнь. Учить играя можно только самых маленьких детей до семилетнего возраста, далее наука должна уже принимать серьезный, ей свойственный тип. Мы не говорим о педантизме, о суровости; но даже прежняя педантическая, отталкивающая важность приносила менее вреда, чем завитая, смеющаяся сама над собой модная педагогика. Нынче часто боятся испугать мальчика серьезной миной науки, но еще более должно бояться, чтобы он не научился презирать ее и третировать ее слегка. Смелость придет со временем, но зерно презрения к науке, посеянное в детском сердце, приносит самые губительные плоды. Не встречаем ли мы на каждом шагу молодых людей, которые еще недавно и учатся, но уже научились презирать учение и, издеваясь над теми наставлениями, которые оно подает, прислушиваются только к наставлениям света? Откуда же все это берется? Еще недостаточно, чтобы сам наставник смотрел на свой предмет и говорил о нем серьезно, чтобы он приступал к своему делу с полным сознанием важности его значения; должно еще, чтобы начальники заведений, сами родители и все взрослые люди, окружающие дитя, смотрели с уважением на его детские усилия пройти с помощью наставника гигантскую дорогу, пройденную человечеством. Как яда, как огня, надобно бояться, чтобы к мальчику не забралась идея, что он учится только для того, чтобы как-нибудь надуть своих экзаменаторов и получить чин, что наука есть только билет для входа в общественную жизнь, который следует бросить или позабыть в кармане, когда швейцар пропустил уже вас в залу, где и прошедший без билета или с фальшивым или чужим билетом смотрит с одинаковой самоуверенностью. Но сознайтесь откровенно, читатель, не случалось ли вам встречаться в жизни с такими взглядами на учение?

В учебную и воспитательную пору возраста учение и воспитание должны составлять главный интерес жизни человека, но для этого воспитанник должен быть окружен благоприятной сферой. Если же все, что окружает дитя или молодого человека, тянет его от учения совершенно в противоположную сторону, тогда напрасны будут все усилия наставника внушить ему уважение к учению. Вот почему воспитание так редко удается в

тех богатых великосветских домах, где мальчик, вырвавшись из скучной классной комнаты, спешит готовиться на детский бал или на домашний спектакль, где ждут его гораздо более живые интересы, преждевременно завладевшие его юным сердцем; или в кабинет папаши, где идут серьезные толки о новом рысаке и где грамматика или история так же на месте, как лапоть нищего в великолепной гостиной. Жалка участь учителя в таком доме: если и не смеются над ним явно, то, по крайней мере, не уважают, а дети скоро разглядывают это неуважение, хотя оно полужакрывается личиной вежливого обращения, и скоро постигают, что учение и учителя изобретены собственно для детей, а для больших есть кое-что получше. Несравненно успешнее идет воспитание в тех простых домах, где родители смотрят на него, как на свет, которого они, к сожалению, лишены, но который хотят дать своим детям, но таких домов уже немного: почти везде видят в образовании средство для службы или для приискания выгодного жениха — билет для выхода на общественную сцену.

**Но воспитание не только должно внушить воспитаннику уважение и любовь к труду: оно должно еще дать ему и привычку к труду,** потому что дельный, серьезный труд всегда тяжел. Для этого есть много средств; мы перечислим из них некоторые.

Преподавание всякого предмета должно непременно идти таким путем, чтобы на долю воспитанника оставалось ровно столько труда, сколько могут одолеть его молодые силы. Леча больного, доктор только помогает природе; точно так же и наставник должен только помогать воспитаннику бороться с трудностями постижения того или другого предмета: не учить, а только помогать учиться. Метода такого вспомогательного преподавания, кроме многих других достоинств, имеет еще главное то, что она, приучая воспитанника к умственному труду, приучает и преодолевать тяжесть такого труда и испытывать те наслаждения, которые им доставляются. Умственный труд едва ли не самый тяжелый труд для человека. Мечтать легко и приятно, но думать трудно. Не только в детях, но и во взрослых людях мы чаще всего встречаемся с ленью мысли. Мальчик скорее готов проработать физически целый день или просидеть без мысли над одной и той же страницей несколько часов и вызубрить ее механически, нежели подумать серьезно несколько минут. Мало того, серьезный умственный труд утомляет непривычного человека быстрее, чем самый сильный труд физический. Это явление объясняется физиологическими законами работы нервного организма и восстановления его сил, так дорого обходящихся экономии тела. Но если не нужно надрывать сил человека в умственной работе, то необходимо не давать им засыпать, необходимо приучать их к этой работе. Организм человека должен приучаться к умственному труду понемногу, осторожно, но, действуя таким образом, можно дать ему привычку легко и без всякого вреда для здоровья выносить продолжительный умственный труд. Вместе с этой привычкой трудиться умственно приобретается и любовь к такому труду, или, лучше сказать, жажда его. Человек, привыкший трудиться



умственно, скучает без такого труда, ищет его и, конечно, находит на каждом шагу.

Самый отдых воспитанника может быть употреблен с большой пользой в этом отношении. Отдых после умственного труда несколько не состоит в том, чтобы ничего не делать, а в том, чтобы переменить дело: труд физический является не только приятным, но и полезным отдыхом после труда умственного. Польза такого употребления отдыха очень верно понята во многих закрытых заведениях Германии где воспитанники в свободное от учения время с величайшей охотой занимаются нарочно для того придуманными работами: хозяйственными хлопотами, уборкой классных комнат, обработкой сада или огорода, столярным и токарным мастерством, переплетением книг и т. п. В выборе этих занятий не должно противоречить никаким безвредным наклонностям воспитанника, и тогда само занятие будет действительным и полезным отдыхом. Конечно, смотря по возрасту, должно быть дано время и для игр; но, чтобы игра была настоящей игрой, для этого должно, чтобы ребенок никогда ею не пресыщался и привык мало-помалу без труда и принуждения покидать ее для работы. Более всего необходимо, чтобы для воспитанника *сделалось невозможным* то лакейское препровождение времени, когда человек остается без работы в руках, без мысли в голове, потому что в эти именно минуты портится голова, сердце и нравственность, а такое препровождение времени весьма обыкновенно во многих закрытых общественных заведениях, равно как и во многих семействах, где дети и молодые люди, оставя учебные занятия, решительно не знают, что с собой делать, и мало-помалу привыкают *убивать* время. Эта привычка, приобретенная еще в юности, находит потом себе обильную пищу в обществе, которое обыкновенно дружно и из всех сил хлопочет, как бы *доконать* время: как будто его дано человеку слишком много!

Но не только за дверьми класса, а часто и в самом классе научаются воспитанники *убивать* время. Учитель толкует новый урок: ученики, зная, что найдут этот урок в книге, стараются только смотреть на учителя и не слышать ни одного слова из того, что он говорит. Толкуя в двадцатый раз одно и то же, учитель, естественно, не может говорить с тем одушевлением, которое симпатически пробуждает внимание слушателей; а между тем он не имеет никакой методы, которая помогла бы ему испытывать и поддерживать это внимание. Он заботится только о том, чтобы большинство его учеников знали предмет, а как придет к ним это знание, для него совершенно все равно. На другой день учитель спрашивает урок одного, двух, трех, а остальные в это время считают себя свободными решительно от всякого дела. Таким образом проводит иной счастливый мальчик большую часть дней целой недели и приобретает гнусную привычку оставаться целые часы ничего не делая и ничего не думая. Надеяться на самый интерес и занимательное изложение предмета можно только, и то не всегда, в университетах, но в средних и низших учебных заведениях нельзя ожидать, чтобы ученик сам увлекался предметом, но должно иметь методу, которая помогает учителю держать внимание *всех* своих слушателей постоянно в

возбужденном состоянии. Не спорим, что это трудно и для учителя и для ученика, но лучше сократить время классов наполовину. Мы постараемся вскоре изложить некоторые приемы такой методы возбуждения классного внимания, но здесь скажем только, что ни один наставник не должен забывать, что его главнейшая обязанность состоит в приучении воспитанников к умственному труду и что эта обязанность более важна, нежели передача самого предмета.

Таким образом, воспитание должно неусыпно заботиться, чтобы, с одной стороны, открыть воспитаннику возможность найти себе полезный труд в мире, а с другой — внушить ему неутомимую жажду труда. Чем обеспеченнее будущее состояние воспитанника, чем менее предвидится для него насущных потребностей, вызывающих поневоле на труд, тем более должен расширяться перед ним горизонт мира, в котором для всякого, кто понимает назначение жизни человека и научился сочувствовать интересам человечества, найдется довольно почтенного и полезного труда. Чем богаче человек, тем выше, тем духовнее, тем более философское должно быть его образование, чтобы он умел сыскать себе достойный труд по сердцу. Бедняка труд и сам найдет: довольно, если он будет готов его выполнить.

Возможность труда и любовь к нему — лучшее наследство, которое может оставить своим детям и бедный и богач.

Труд, конечно, бремя, но бремя, без которого возможное соединение человеческого достоинства и счастья невозможно, — бремя, которое должен нести человек, если хочет прийти к тому невозмутимому спокойствию, к которому призываются только *трудящиеся и обремененные*.